

## Корреспонденты Марины Цветаевой и герои ее эпистолярной и мемуарной прозы

«Ах, я на многих похожа, я совсем не одна такая...»<sup>1</sup> – эти слова прозвучали в одном из цветаевских писем 1934 года (к Наталье Гайдукевич), и на первый взгляд они очень неожиданны в ее устах. После всех ее пронзительных жалоб на «свое сиротство» (Роландов рог, II, 10), на одиночество в «мире мер», чужом и холодном («Что же мне делать, слепцу и пасынку...», II, 185) – вдруг такие, казалось бы, очень противоречащие этому слова – «я на многих похожа».

Трагическая несоизмеримость личности гениального поэта Марины Цветаевой и людей, окружающих ее (и вблизи, и вдали), несоизмеримость ее «окликов» (во множестве горячих исповедальных писем) и «откликов» на них – таков постоянный мотив воспоминаний о ней и исследовательских работ, посвященных ее творчеству.

Много размышляла об этом в своих письмах и воспоминаниях о матери Ариадна Эфрон: «Часть ее дружб и большинство ее романов являлись по сути дела повторением романа Христа со смоковницей (таким чудесным у тебя!). Кончалось это всегда одинаково: “О, как ты обидна и недаровита!” – восклицала мама по адресу очередной смоковницы и шла дальше»<sup>2</sup> (из письма Борису Пастернаку); «Чаще всего она чересчур горячо увлекалась людьми, чтобы не охладевать к ним, опять-таки чересчур! <...> В слишком заоблачные выси она возносила их, чтобы не поддаваться искушению низвергнуть»<sup>3</sup>.

Объективное подтверждение этих слов дочери находим в признаниях самих «вознесенных и низвергнутых» Мариной Цветаевой: «Она меня выдумала, ты знаешь, какой она была выдумщицей. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог»<sup>4</sup>, – так Константин Родзевич, герой цветаевских поэм Горы и Конца, объяснял много лет спустя давней приятельнице (Вере Трэйл), знавшей их обоих в молодости, причину их разрыва.

Об этом же цветаевском свойстве, – но с б<sup>о</sup>льшей тонкостью и глубиной (свидетельствующими, кстати, о незаурядности его личности) написал (в письме ей самой!) – молодой поэт Анатолий Штейгер: «Я всегда этого боялся, всегда знал эту Вашу способность <...> в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, – Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, – потому что он больше на них не лежит <...>. Но каково тем, кого Вы “увидите”, насмотритесь и потом перестаете видеть»<sup>5</sup>.

Таким письмом (к сожалению, единственным, – кроме цитат из его писем в ответных цветаевских, – дошедшим до нас) завершил Анатолий Штейгер переписку с Мариной Цветаевой, занимавшую огромное место в его жизни...

Цветаевские письма требуют от эпистолярного собеседника высокого уровня эмоциональной и интеллектуальной восприимчивости и ответного напряжения всех «мускулов души». Ариадна Эфрон с горечью утверждала, что чаще всего происходило так: «Держатели обыкновенных чувств и мыслей быстро утомлялись от необходимости взгромоздиться на ходули или вытягиваться на цыпочках, и сила ее дара, помноженная на неистовую жажду самовыражения и самоотдачи – в дружбе, в любви, в человеческом общении – с роковой неизменностью расшибалась о речевую или эпистолярную холодность – или скупость – или скудность собеседника...»<sup>6</sup>.

Ариадна Сергеевна была горестно убеждена в роковой закономерности так складывающихся отношений Марины Ивановны с самыми разными людьми (исключая, разумеется, из этого ряда Бориса Пастернака). Это убеждение прочно закрепилось во множестве исследовательских работ, но его абсолютизация, распространение на все – самые разные... – сюжеты цветаевской живой и эпистолярной жизни грозит обернуться вопиющей несправедливостью по отношению ко многим верным ей и дорогим ей (до конца оставшимся

и верными, и дорогими) людям, чьи письма радовали, согревали, поддерживали, помогали переносить неуют и холод жизни. Слова «я совсем не одна такая...» побуждают в чем-то по-новому, под иным углом зрения вчитаться в цветаевские письма к духовно близким ей людям (и, когда есть такая возможность – в их ответные), и тогда обнаруживаются и такие (многолетние!) сюжеты ее жизни, в которых она радостно находила (и *не* разочаровывалась!) в людях родное, сокровенно близкое...

«Когда вышла от Вас, захотелось сразу вернуться, еще Вас слушать, еще Вам говорить, так много, встречным потоком. С вами, только с Вами в жизни думаю вслух, чувствую, живу перед Вами все равно какими словами, потому что ничего не надо объяснять <...>. Я Вас помнить буду всегда как лучший Божий дар мне <...>. Я Вас люблю, Марина, так что, если Вам, когда бы ни было, стало жить тяжело, – вспомните это, и теплее, легче станет. Рассчитывайте на всю меня всегда» (из письма Ариадны Берг; 1938г. апрель)<sup>7</sup>.

Эта женщина в самые трудные (последние) годы жизни Марины Цветаевой во Франции до конца (как немногие тогда...) оставалась ее преданным другом, поддерживая и словом, и делом: помогала в предотъездных хлопотах, таких тяжелых и так трудно Марине Ивановне дающихся («Мур не забыт: костюм в чистке и я его привезу сама», с. 67) и – в том, что было ее сверхзадачей...

Всю жизнь (а прожила Ариадна Берг до 1979 года) берегла эта женщина – и сберегла и в годы войны, и в переездах, – доверенные ей Мариной Цветаевой перед ее трагическим отъездом в Советскую Россию рукописи («Перекоп» и «Крысолов») и письма.

Ариадна Берг в полной мере осознавала масштаб личности Марины Цветаевой (как далеко не все в ее парижском окружении), писала, что встреча и дружба с ней – одно из самых значительных событий в ее жизни: «Вы знаете, Марина, что наши встречи, такие полные, *значительные*, нужные, принадлежат к тем редким событиям, для чего мне нужно было жить. Без них в моей жизни было бы что-то неисполненное, недоконченное, хромое...» (с. 65).

Можно ли назвать такие письма эмоционально скудными, «скупыми», холодными (как в порыве горечи назвала Ариадна Эфрон чуть ли не все, кроме писем Б. Пастернака, «отклики» цветаевских корреспондентов на ее горячие исповедальные «оклики»)? – Вопрос, разумеется, риторический...

Ярко и страстно Ариадна Берг отозвалась на «Поэму Горы»: «Дорогая Марина, Я не прочла – я выпила Вашу поэму. Я ничего не нахожу сказать Вам про нее, как нельзя ничего сказать про то, что глубже всего вращается в душу, – *не видишь отдельно* (курс. мой – Л.К.); (эти слова явно перекликаются со строками Поэмы Горы – “Я не помню тебя отдельно / От любви. Равенства знак!” (III, 30) – о любимом человеке, с которым героиня рассталась, и думается, что эта перекличка в письме – сознательна, так как корреспондентка переполнена впечатлениями от поэмы). Но Вы поймете, почему мне она так близка, – уже давно, еще до того, что я читала ее сегодня впервые, почему она так – *моя*, когда прочтете мои короткие, неумелые стихи...» (III, 56).

Ариадна Берг всегда помнила о разнице масштабов: «Мне радостно, тепло слышать от Вас, про Вас и себя: “мы”. И я чувствую, что это так – во всем важном, внутреннем. Но Вам дано – это сказать. Я – могу только все нести в себе. Мое освобождение – в чужом вдохновении – музыке, стихах, – реже в изваянии, картине. Но главное – в любви. Это – мое искусство. И, может быть, как многие гении, и я живу в нищете сердечной, и только потом узнают – слишком поздно. Но от моего пожара не останется ни одной песни, ни одной строки» (с. 65).

Те, кто хорошо знаком с цветаевскими письмами, не смогут не ощутить в письмах Ариадны Берг многое роднящее с ними – и в тональности, и в не отделимой от нее сути.

Проницательность суждений, суровая честность перед собой, стремление и способность доходить в осмыслении любого явления – не щадя и себя, если собственная личность становится объектом анализа! – «до самой сути», смелость и четкость словесных

формул, эмоциональный накал – человек, *так* мыслящий и *так* пишущий, не мог не ощущаться Мариной Цветаевой как человек «своей породы».

Мысль Ариадны Берг о том, что ей дано «все нести в себе» и от перенесенного и осмысленного ею ничего не останется, а Марине «дано все сказать», – удивительно перекликается со сказанным в одном монологе цветаевской «Сонечки» в Повести о ней: после шуточного предупреждения Марины Ивановны, что она «когда-нибудь украдет» восхитившие ее слова Сонечки – были «слезы больше глаз» – она воскликнула: «О, берите, Марина! Все, что хотите – берите! Все мое берите в стихи, всю берите! Потому что в *ваших* руках все будет жить – вечно! А что от меня останется? Несколько поцелуев...» (IV, 310).

Память о героине «Повести о Сонечке» (Софье Евгеньевне Голлидэй) не случайно активно присутствует на страницах цветаевских писем к Ариадне Берг, особенно явственно – когда стала приближаться разлука (они знали, что после отъезда Марины Ивановны в Советскую Россию переписка станет невозможна): «...писать Вам буду до последнего дня. “А потом началось молчание”. Цитирую себя из конца своей “Повести о Сонечке”...» (1938 г. май; с. 52).

И еще раз – несколько месяцев спустя: «Пишите. Это последний срок для родных голосов. *Потом* (как в моей Повести о Сонечке) *началось молчание*» (1938 г. авг.; с. 57).

(Как известно, отъезд Марины Ивановны с сыном состоялся в июне 1939 года, то есть почти год спустя, но в тот момент создано впечатление, что это произойдет очень скоро).

Ариадна Берг глубоко почувствовала разворачивающуюся на ее глазах (в конце 30-х годов) трагедию судьбы Марины Цветаевой (их переписка и встречи начались в 1934 году и продолжались до самого отъезда Марины Ивановны), и ее осмысление ситуации – умное, достойное, не упрощенное: «Марина, а что если бы Вы *не* уехали? Я так глубоко чувствую *ненужность* Вашей жертвы. Но, конечно, Вы ее чувствуете еще глубже, а также, что она роковая и, может быть, то, что *не* принести ее будет еще большей жертвой. Христос с Вами, родная, Ваш путь – русский путь...». (1938 г. авг.; с. 57).

Режущим контрастом на фоне таких «живых» писем Ариадны Берг и ощущения личности, значительной и достойной, не могущего не возникнуть у каждого, кто прочитает их – звучит предвзятый, несправедливый комментарий публикаторов этой цветаевской переписки (в журнале «Звезда», 1992, № 10): «Ее (Марины Цветаевой – Л.К.) энергичная собранность все усиливается, в то время как несмелая манера письма, *во многом беспредметная тоска или, скорее, скука А. Берг* (курс. мой – Л.К.) составляет этому замечательный контраст» (с. 46–47).

Так сказано о женщине, мужественно противостоящей страшным ударам судьбы – Ариадна Берг за один год потеряла мужа и дочь. Из последних сил боролась она с гнетущим отчаянием, чтобы не омрачать юность дочерей: «Мечусь, Марина, от детей живых, которым нужна, к ней, без которой *мне* жить так несносно» (с. 62).

После напряженных рабочих дней, преодолевая опустошающую усталость, она ходила с дочерьми на музыкальные концерты. «Очень много работаю, подвинула свой перевод настолько, что теперь могу немного подумать о своей книге...» (с. 54); «...бешеная работа – 8 часов в день за машинкой, допереписывать окончанный перевод книги <...>, животная после этого усталость, несмотря на которую часто, с Верой, бегала на концерты...» (с. 64–65).

Борьба с могущей раздавить Жизнью ведется этой сильной женщиной осознанно: «...не думайте, Марина, что я сдалась! Внешне – все та же, все еще веет от меня на других жизненной силой <...>. Только игра становится труднее. Перейти туннель. Свет я *не* потеряла из виду. К нему иду, но сейчас он скрыт от меня. Но он есть – и на моем пути» (с. 60).

Эти слова очень перекликаются с тем, что Марина Цветаева – уже «в другой жизни», в СССР 1940 года, после ареста мужа и дочери, написала о *себе прежней* (с болью добавляя, что теперь она все меньше «узнает» себя...): «От меня шла – свобода <...>. На мне люди оживали как янтарь. Сами начинали играть» (Вере Меркурьевой; VII, 688).

После одного своего особенно исповедального письма Марина Цветаева убежденно написала Ариадне Берг: «Пишу Вам все это – потому что Вы такая же, как я. Не говорите *нет. Да*» (с. 63).

На этом фоне особенно не соответствующей фактам, оскорбительно несправедливой как по отношению к Ариадне Берг, так и к самой Марине Цветаевой выглядит фраза комментатора: «Цветаева, как всегда, наделяет своими свойствами симпатичного ей человека» (с. 47). В том-то и дело, что «свойства» эти были действительно присущи Ариадне Берг! Противостояние личности реальным, могущим раздавить трагедиям – эту силу в ней (как и ум, и благородство) видела и глубоко уважала Марина Цветаева: «Вижу перед собой Ваше *строгое, открытое, смелое лицо...*» (курс. мой – Л.К.) (VII, 509) – так писала она в одном из самых трагических своих писем, когда в газетах появились – после убийства Рейсса и поспешного, по приказу, отъезда Сергея Эфрона – грубые, оскорбительные, чернящие его статьи<sup>1</sup> – и далее: «и говорю Вам: что бы Вы о моем муже ни слышали и ни читали дурного – не верьте...» (там же).

В работе «Пушкин и Пугачев» Марина Цветаева завершает сюжет о «беззаконной», вопреки всей его жизни и судьбе, любви Пугачева к Гриневу – очень значимыми и *лично выстраданными* словами: «Но слава Богу на этот раз любовь была не к недостойному» (IV, с. 505), и слова эти безусловно справедливы по отношению к связанному с Ариадной Берг сюжету цветаевской жизни, в котором не случилось никакого разочарования.

Не случилось его и в отношениях Марины Ивановны с Верой Николаевной Буниной, и – с Анной Антоновной Тесковой. К сожалению, письма этих женщин к Марине Цветаевой (в отличие от бережно сохраненной дочерью Ариадны Берг полноценной переписки ее матери с Мариной Ивановной) не сохранились (архивы погибли во время бомбежек), но об их тональности – о том, что их «отклики» (а иногда и «оклики»!) не были ни холодны, ни скудны, ни скупы, мы можем судить по цветаевским ответам на них – например, по таким: «Дорогая Анна Антоновна! О Ваших письмах (видимо, был задан Анной Тесковой какой-то вопрос о них – Л.К.): я их храню, ни одного не потеряла и не уничтожила за все эти годы. Вы один из тех редких людей, которые делают меня *добрее*: большинство меня ожесточает. Есть люди, которых не касается зло <...>. Это я – о Вас <...>. Вас бы очень любил Рильке <...>. Вы учите, не зная, – тем, что существуете» (VI, 374); «И вот мечта: <...> приехать к Вам – о душе подумать» (VI, 379); «Я Вас нежно люблю. Вы из того мира, где только душа весит, – мира сна или сказки» (VI, 340); «Почему мы с Вами не вместе?? Мы бы с Вами ввек всего не переговорили, а с остальными, почти со всеми, мне так скучно, и им со мной» (VI, 411); (Ариадна Берг появилась в ее жизни позднее), «...живи я с Вами (хотя бы в одном городе, хотя бы в одной стране), у меня была бы другая жизнь, вся другая» (VI, 390); «*Когда увидимся? Почему люди, которым нужно быть вместе, должны быть врозь? <...>. мне общество не нужно, мне нужен человек, и из всех людей – больше всего Вы <...>. Мне с Вами тихо, Вы понимаете, что это значит? Как в большом поле – какие есть только в России*» (VI, 403).

Анна Тескова была неуклонно верна известному цветаевскому убеждению (девизу?..) «Друг – действие» – это было и ее глубоким убеждением. Об этом пронзительно сказано в прощальном (перед роковым отъездом в СССР) цветаевском письме: «Вы человек, который исполнил *все* мои просьбы и превзошел все мои (молчаливые) требования преданности и памяти <...>. Помню все и за все бесконечно и навечно благодарна» (VI, 479). И еще: «Шею себе сверну – глядя назад: на Вас, на Ваш мир, на наш мир <...> одно знайте: когда бы Вы обо мне ни подумали – знайте, что думаете – в ответ» (там же).

Что касается Веры Николаевны Буниной – в одном из первых писем к ней Марина Ивановна горячо благодарит ее именно за *неравнодушие* – за полноту и подробность отклика.

---

<sup>1</sup> Этот сложный трагический сюжет, естественно, невозможно рассматривать в пределах этого выступления.

В молодости Вера Бунина (тогда – Муромцева) училась вместе со старшей сестрой Марины (тогда еще маленькой девочки) по отцу Лерой (Валерией), бывала и в цветаевском доме в Трехпрудном, и – в доме историка Иловайского, деда Валерии по материнской (ее покойной матери) линии (этот дом «вошел в историю» после цветаевского большого очерка, ему посвященного, под названием «Дом у Старого Пимена»), и хорошо помнила «обитателей» этих домов. Между ней, «женой Бунина» (знакомой Марине Ивановне именно в этой «социальной роли») и Мариной Цветаевой шла сначала деловая полуофициальная переписка, но когда она назвала свою девичью фамилию, тональность цветаевских писем изменилась: «Дорогая Вера Николаевна, Я все еще под ударом Вашего письма. Дом в Трехпрудном – общая колыбель – глазам не поверила! <...>. Я росла за границей, Вы бывали в доме без меня, я Вас в нем не помню, но Ваше имя помню, Вы в нем жили как звук. “Вера Муромцева” – мое раннее детство <...> как Вы могли, когда я была у Вас, меня не окликнуть? Ведь “Трехпрудный” – пароль, я бы Вас сразу полюбила, поверх всех евразийств и монархизмов, и старых и новых поэзий, – всей этой вздорной внешней розни. – Уже люблю. <...>. “Вера Муромцева”. “Жена Бунина”. Понимаете, что это два разных человека, друг с другом незнакомых. (Говорю о своем восприятии, до Вашего письма). – Пишу “Вере Муромцевой”, ДОМОЙ» (VII, 236).

Через пять лет после этого потрясенного, взволнованного отклика, начав работать над «Домом у Старого Пимена», (не было ли потрясение от «возвращающего Прошлое» письма – неким отдаленным «первым толчком», побудившим – пусть не сразу, пусть годы спустя погрузиться «всей собой», как всегда это бывало у Марины Цветаевой, в тот мир?), Марина Ивановна обратилась к Вере Николаевне со множеством вопросов о тех домах и тех людях, и по цветаевской реакции на ее ответ можно представить, каким он был: «Дорогая Вера Николаевна, Самое сердечное и горячее (сердечное и есть горячее!) <...> самое *сердечное* спасибо за *такой* отклик. Первое, что я почувствовала, прочтя Ваше письмо: СОЮЗ <...>. Третье: что *бывшее* сильнее сущего, а наиболее из бывшего бывшее: *детство* сильнее всего. Корни <...>. Редкий случай *радостного* долга. Долг перед домом (лоном) (Долг – написать об этом, “воскресить” “изнутри корней” вывести на свет – Л.К.). Знаю, что эти же чувства движут и Вами» (VII, 243).

Не потому ли Марине Ивановне захотелось именно Анне Тесковой рассказать о Вере Буниной, хотя вообще она не часто рассказывала одним своим друзьям о других, ценя уединенность каждой дружбы, но в данном случае сами натуры Веры Буниной и Анны Тесковой как бы «взывали» изменить этому правилу... «Я – годы – дружу с Верой Буниной, урожденной Муромцевой, бывшей подругой моей Halbschwester (сводной сестры – нем.) Валерии<sup>1</sup>, ученицей, по истории искусств, моего отца, – счастливейшие дни своей жизни проведенной в *нашем* доме в Трехпрудном – Вы наверное о нем читали. Познакомилась и подружилась я с ней – здесь. Она мне написала, я отозвалась – и пошло, и продолжается, и никогда не кончится – ибо тут нечему кончаться: все – вечное» (VI, 88).

Об этой «вечности» их дружбы – невзирая на все, что происходило «на поверхности» – в частности, на то что в свои приезды в Париж (короткие, перегруженные, деловые) Вера Николаевна не всегда находила время на то, чтобы встретиться, – Марина Цветаева писала и самой Вере Буниной: «Вы – отрешенная. От всего, что Вы (“я”). Все для Вас важнее и срочнее собственной души и ее самых *насуиных* требований. А так как я – все-таки – отношусь к Вашей собственной душе, то *и* мною Вы легко поступите – для первого встречного, Вам ненужного – гостя или дела <...>. Вы меня “забываете” в порядке – себя <...>. Корни нашей с вами – странной – дружбы – в глубокой земле времен» (VII, 288).

Марина Цветаева всегда стремилась такое – из «глубокой земли времен», или «изнутри корней» (VII, 243) – «вывести на свет» (там же) – так писала она Вере Буниной обо всем

---

<sup>1</sup> Определение не совсем точное – Валерия была родной дочерью Ивана Владимировича Цветаева, следовательно – родной сестрой Марины по отцу («сводные» – дети от обоих разных родителей, соединенные в одной семье женитьбой отца одного ребенка на матери другого).

«старо-пименовском-тарусском-трехпрудном» (там же) мире, «воскресить» который – «Увидеть самой и дать увидеть другим» (VII, 247) – она считала своим «радостным долгом». Об этом она писала страстно, с болью (при мысли о том, как много на свете «не воскрешенных») и надеждой, с глубоким убеждением в необходимости этого: «...чтобы все они не даром жили – и чтобы я не даром жила!» (VII, 241).

Это сознание «радостного долга» крепко держало ее в мире, становящемся все более «не своим», чужим ее душе, холодном и равнодушном, – и она успела, как известно, «воскресить» и «дать увидеть» многое и многих: Максимилиана Волошина, Андрея Белого, Кузьмина, Софью Голлидэй («свою Сонечку»), успела оставить нам и своих живых современников, дать «своего» Осипа Мандельштама, «свою» Наталью Гончарову.

...И думается, что если бы Бог внял ее молитве и послал ей «За этот ад, за этот бред / <...> сад на старость лет» (II, 322), – она «воскресила» бы (точнее, оставила бы нам – так, как она их видела) – и гордую, сильную, смелую Ариадну Берг; и тихую, кроткую, «отрешенную» Веру Бунину, сумевшую в нелегкой своей жизни сохранить такую ясную и подробную память об ушедшем мире, такую верность их общим корням, и «старинно благородную» Анну Антоновну Тескову.

Уважение к их памяти и к памяти Марины Цветаевой требует внимательнее и доверчивее вчитаться во все то доброе и высокое, что сказано ею о них, в том числе и такие «странные» слова, как «Я не одна такая...»

#### Примечания

<sup>1</sup> *Марина Цветаева*. Письма к Наталье Гайдукевич. М.; Русский путь, 2002. С. 50.

<sup>2</sup> *Ариадна Эфрон*. Марина Цветаева. Воспоминания дочери. Письма. Калининградское книжное издательство, «Янтарный сказ», 1999. С. 448–449. (В дальнейшем цитируется по этому изданию).

<sup>3</sup> *Там же*. С. 135.

<sup>4</sup> *Ирма Кудрова*. После России. Марина Цветаева: Годы чужбины. М.; 1997. С. 89.

<sup>5</sup> *Марина Цветаева*. Письма Анатолию Штейгеру. Музей М.И. Цветаевой в Болшево. Калининград; 1994. С. 130–132.

<sup>6</sup> *Ариадна Эфрон*. С. 195.

<sup>7</sup> Переписка М.И. Цветаевой и А.Э Берг. «Звезда», 1992. № 10. С 48. (Далее цитируется в тексте по этой публикации).